

Джек Лондон

Сочинения

Мартин Иден

Глава I

Шедший впереди отпер дверь французским ключом и вошел. За ним вошел молодой парень, который при этом неловко сдернул кепку с головы. На нем была простая грубая одежда, пахнувшая морем; в просторном холле он как-то сразу оказался не на месте. Он не знал, что делать со своей кепкой, и собрался уже запихнуть ее в карман, но в это время спутник взял кепку у него из рук и сделал это так просто и естественно, что неуклюжий парень был тронут. «Он понимает, — пронеслось у него в голове, — он меня не выдаст».

Вперевалку, широко расставляя ноги, словно пол под ним опускался и поднимался на морской волне, он пошел за своим спутником. Огромные комнаты, казалось, были слишком тесны для его размахистой походки, — он все время боялся зацепить плечом за дверь или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Он лавировал между различными предметами, преувеличивая опасность, существовавшую больше в его

воображении. Между роялем и столом, заваленным книгами, могло свободно пройти шесть человек, но он отважился на это лишь с замиранием сердца. Его тяжелые руки беспомощно болтались, он не знал, что с ними делать. И когда вдруг ему отчетливо представилось, что он вот-вот заденет книги на столе, он, как испуганный конь, прынул в сторону и едва не повалил табурет у рояля. Он смотрел на своего уверенно шагавшего спутника и впервые в жизни думал о том, как неуклюжа его собственная походка и как она отличается от походки других людей. На мгновение его обожгло стыдом от этой мысли.

Капли пота выступили у него на лбу, и, остановившись, он вытер свое бронзовое лицо носовым платком.

— Артур, дружище, погодите немножко, — сказал он, пытаясь шутливым тоном замаскировать свое смущение. — Слишком уж для меня много на первый раз. Дайте собраться с духом. Вы ведь знаете, я не хотел, да и вашим-то едва ли так уж не терпится на меня посмотреть.

— Пустяки! — последовал успокоительный ответ. — Вам нечего бояться нас. Мы люди простые... Эге! Мне письмо, я вижу!

Артур подошел к столу, вскрыл конверт и начал читать, давая гостю возможность притти в себя. И гость это понял и оценил. Он был очень

чуток и восприимчив, и, несмотря на внешнюю растерянность, в нем уже шел процесс приспособления к новой обстановке. Он вытер лоб и посмотрел кругом более спокойно, хотя в глазах еще оставалась тревога, как у дикого животного, опасющегося западни. Он был окружен неизвестным, он боялся того, что могло произойти, он не знал, что ему делать, понимая, что держится нескладно и что, вероятно, нескладность эта проявляется не только в походке и жестах. Он был чрезвычайно чувствителен, невероятно самолюбив, и лукавый взгляд, который украдкой бросил на него Артур поверх письма, поразил его, как удар кинжала. Он поймал его взгляд, но не подал виду, так как многому уже успел научиться, и прежде всего дисциплине. Однако этот удар кинжала ранил его гордость. Он выругал себя за то, что пришел, но тут же решил, что раз уж пришел, то выдержит все до конца. Лицо его приняло суровое выражение, и в глазах сверкнул огонек. Он огляделся теперь более уверенно, стараясь запечатлеть в своем мозгу все детали окружающей обстановки. Ничто не ускользнуло от его широко раскрытых глаз. И по мере того как он глядел на эти красивые вещи, сердитый огонь в его глазах угасал, сменяясь теплым блеском. Он всегда живо откликался на красоту, а здесь было на что откликнуться.

Его внимание привлекла картина на стене,

написанная масляными красками Могучий вал разбивался о выступающий из воды утес; низкие грозовые облака покрывали небо, а по бушующим волнам, освещенная пламенем заката, неслась маленькая шхуна, сильно накренившись, так что вся ее палуба была открыта взгляду. Это было красиво, а красота неодолимо влекла его. Он забыл о своей неуклюжей походке и подошел к картине вплотную. Красоты как не бывало. Он с недоумением взирал на то, что теперь казалось грубой мазней. Затем он отошел. И тотчас же картина снова стала прекрасной. «Картина с фокусом», — подумал он, отворачиваясь, и среди новых нахлынувших впечатлений успел почувствовать негодование, что столько красоты принесено в жертву ради глупого фокуса. Он не имел понятия о живописи. До сих пор он видал лишь хромолитографии, которые были одинаково гладки и отчетливы вблизи и издали. Правда, в витринах магазинов он видал картины, написанные красками, но стекло не позволяло разглядеть их как следует.

Он оглянулся на своего друга, читавшего письмо, и увидел на столе книги. Его глаза загорелись жадностью, как у голодного при виде пищи. Он невольно шагнул к столу, все так же вперевалку, и начал с волнением перебирать книги. Он глядел на заглавия и имена авторов, читал

отдельные фразы в тексте, ласкал книги глазами и руками и вдруг узнал книгу, которую недавно читал. Но, кроме этой одной книги, все другие были ему совершенно неизвестны, так же как и их авторы. Ему попался томик Суинберна, и он стал читать, забыв, где находится; лицо его разгорелось. Дважды он закрывал книгу, чтоб посмотреть имя автора, указательным пальцем заложив страницу. Суинберн! Он запомнит имя. У этого Суинберна были, видно, острые глаза, он умел видеть очертания и краски. Но кто он такой? Умер он лет сто тому назад, как большинство поэтов, или жив и еще пишет? Он перевернул заглавную страницу. Да, он написал и другие книги. Ладно, завтра же утром он пойдет в публичную библиотеку и попробует достать что-нибудь из сочинений этого Суинберна.

Он так увлекся чтением, что не заметил, как в комнату вошла молодая женщина. Его заставил опомниться голос Артура, сказавшего вдруг:

— Руфь! Это мистер Иден.

Книга захлопнулась, и, прежде чем повернуться, он весь задрожал от нового, еще неизведанного ощущения, которое в нем вызвал не приход девушки, а слова ее брата. В его мускулистом теле жила обостренная чувствительность. Под малейшим воздействием внешнего мира его чувства и мысли вспыхивали и

играли, как пламя. Он был необычайно восприимчив и отзывчив, а его пылкое воображение все время работало, устанавливая взаимоотношения между вещами, сходство и различие. Слова «мистер Иден» — вот что заставило его вздрогнуть.

Он, которого всю жизнь звали «Иден», или «Мартин Иден», или просто «Мартин», — вдруг «мистер». «Это что-нибудь да значит», — отметил он про себя. Его ум внезапно превратился в огромную камер-обскуру, и перед ним бесконечной вереницей пронеслись разные картины его жизни: кочегарки, трюмы, доки, пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы; все это нанизалось на один стержень — форму обращения, к которой он там привык.

Он обернулся и увидел девушку. Беспорядочные видения, возникшие в его памяти, сразу исчезли. Это было бледное, воздушное создание с большими голубыми одухотворенными глазами, с массой золотых волос. Он не знал, как она одета, — знал лишь, что наряд на ней такой же чудесный, как и она сама. Он мысленно сравнивал ее с бледнозолотистым цветком на тонком стебле. Нет, скорей она дух, божество, богиня, — такая возвышенная красота не может быть земной. Или в самом деле правду говорят книги, и в других, высших кругах общества много таких, как она? Вот

ее бы воспеть этому Суинберну. Может быть, он и думал о ком-нибудь, похожем на нее, когда описывал Изольду в книге, которая лежит там, на столе. Вся эта смена мыслей, видений и чувств заняла одно мгновение. Внешние события шли своей чередой, без перерывов. Руфь протянула ему руку, и он заметил, как прямо смотрела она ему в глаза во время крепкого, совсем мужского рукопожатия. Женщины, которых он знал, не так пожимали руку. Они вообще редко здоровались за руку. Его снова захлестнул целый поток пестрых картин, воспоминаний о том, как он знакомился с разными женщинами. Но он откинул все эти воспоминания и смотрел на нее. Такой он никогда не видел. Женщины, которых он знал. Немедленно рядом с нею выстроились «те» женщины. В течение секунды, показавшейся вечностью, он словно стоял посреди портретной галлерей, в которой она занимала центральное место, а вокруг теснились женщины, которых надо было оцепить, окинув беглым взглядом, и сопоставить с нею. Он увидел худые, болезненные лица фабричных работниц и задорных девчонок с городской окраины; увидел скотниц с огромных скотоводческих ранчо и смуглых, курящих сигары жительниц Старой Мексики. Потом замелькали похожие на кукол японки, семенящие на деревянных подошвах женщины Евразии с тонкими

чертами лица, уже отмеченные признаками вырождения; за ними пышнотелые женщины островов Великого океана, темнокожие и украшенные цветами. И, наконец, всех оттеснила чудовищная, кошмарная толпа — растрепанные потаскухи с панелей Уайтчэпела, пропитанные джином ведьмы из темных притонов, целая вереница исчадий ада, грязных и развратных, жалкие подобия женщин, подстерегающие моряков на стоянках, эти отбросы портов, пена и накипь человеческого котла.

— Садитесь, мистер Иден, — сказала девушка. — Мне так хотелось познакомиться с вами, после того что нам рассказал Артур. Это был такой смелый поступок.

Он отрицательно покачал головой и пробормотал, что все это сущий вздор, что всякий поступил бы так же на его месте. Она заметила, что рука, которую он ей подал, покрыта свежими, заживающими ссадинами; посмотрела на другую руку и увидела то же самое. Потом, скользя быстрым критическим взглядом, она заметила шрам у него на щеке, другой на лбу, под самыми волосами, и, наконец, третий, исчезающий за крахмальным воротничком. Она подавила улыбку, увидав красную полосу, натертую воротничком на его бронзовой шее. Он, видно, не привык носить воротнички. Ее женский глаз отметил и дурной,

мешковатый покррой его костюма, складки у плеч, морщины на рукавах, под которыми обрисовывались могучие бицепсы.

Повторяя, что в его поступке нет ничего особенного, он повиновался ей и шагнул к креслу. При этом он успел полюбоваться той непринужденной грацией, с которой села она, и смутился еще больше, представив себе свою нескладную фигуру. Все это было ново для него. Ни разу в жизни не задумывался он над вопросом, ловок он или неуклюж. Ему никогда в голову не приходило смотреть на себя с этой точки зрения. Он осторожно присел на край кресла, не зная, куда деть свои руки. Как он их ни клал, они все время мешали ему, а тут еще Артур вышел из комнаты, и Мартин Иден с невольной тоской посмотрел ему вслед. Оставшись в комнате наедине с этим бледным духом в женском облике, он окончательно растерялся. Тут не было ни стойки, где можно спросить вина, ни мальчишки, которого можно послать за пивом, чтобы при помощи этих располагающих к общению напитков завести дружескую беседу.

— У вас шрам на шее, мистер Иден, — сказала девушка. — Откуда он? Наверно, это было какое-нибудь необычайное приключение?

— Мексиканец меня хватил ножом, мисс, — отвечал он, проведя языком по губам и кашлянув,

чтобы прочистить горло, — была потасовка. А потом, когда я вырвал у него нож, он хотел мне нос откусить.

Он сказал это совершенно просто, а перед его глазами возникла картина душной звездной ночи в Салина-Круц; белая полоса берега, огни груженных сахаром пароходов, голоса пьяных матросов в отдалении, толкотня грузчиков, искаженное яростью лицо мексиканца, звериный блеск его глаз при звездном свете, холод стали на шее, струя крови, толпа и крики, два тела, его и мексиканца, сплетенные вместе и катающиеся на песке, и мелодичный звон гитары где-то вдали. Так это было, и, вздрогнув при одном воспоминании, он подумал о том, сумел ли бы изобразить все это на полотне тот, кто написал картину, висевшую в комнате? Белый берег, звезды, огни грузовых пароходов должны были хорошо выйти, — а посередине, на песке, темная толпа вокруг борющихся. Он решил, что и нож следовало изобразить на картине, — сталь так красиво блестела бы при свете звезд.

Но в его словах ничего этого не отразилось.

— Да, он хотел откусить мне нос, — проговорил он.



— О! — воскликнула девушка, и в тоне ее голоса и в выражении лица он почувствовал замешательство. Он и сам смешался, и легкая краска разлилась по его загорелым щекам, причем ему показалось, что они пылают, как после целого часа, проведенного у открытой топки котла. О таких неприглядных предметах, как драка на ножах, едва ли удобно беседовать со светской дамой. В книгах люди ее круга никогда не говорили о подобных вещах, — может быть, они о них даже не знали.

Произошла легкая заминка в едва успевшей завязаться беседе. Тогда Руфь снова задала вопрос, на этот раз о шраме у него на щеке. Когда она спросила об этом, он понял, что она пытается оставаться в кругу его тем, и решил, ответив, перевести затем разговор на темы, близкие ей.

— Случай вышел такой, — сказал он, проводя рукой по щеке. — Однажды ночью, в большую волну, сорвало грот со всеми снастями. Трос-то был проволочный, он и стал хлестать кругом, как змея. Вся вахта старалась его поймать. Ну, я бросился и закрепил его, только при этом меня звездануло по щеке.

— О! — воскликнула она опять, на этот раз с некоторым участием, хотя все эти «гроты» и «тросы» были ей столь же непонятны, как если бы он говорил с нею по-гречески.

— Этот... Свайнберн, — начал он, осуществляя свой план, но при этом делая ошибку в произношении.

— Кто?

— Свайнберн, — повторил он, — поэт.

— Суйнберн, — поправила она его.

— Да, он самый, — проговорил он, снова покраснев. — Давно он умер?

— Я не слыхала, чтобы он умер. — Она посмотрела на него с любопытством. — А где вы с ним познакомились?

— Да я его и в глаза не видал, — отвечал он. — Я прочитал кое-что из его стихков вон в той книжке на столе, как раз перед тем, как вы пришли. Вам его стихи, нравятся?

Она заговорила свободно и легко об интересовавшем его предмете. Он почувствовал себя лучше и даже глубже уселся в кресло, продолжая, однако, крепко держаться за ручки, словно опасался, что оно уйдет из-под него и он шлепнется на пол. Ему удалось найти тему, близкую ей, и теперь он напряженно слушал, удивляясь тому, как много знаний укладывается в ее хорошенькой головке, и наслаждаясь созерцанием ее хрупкой красоты... Он старался понять то, что слышал, хотя незнакомые слова, так просто слетавшие с ее губ, повергали его в недоумение, да и весь ход мысли был ему

совершенно чужд. Однако все это заставляло его ум работать. Вот где умственная жизнь, думал он, вот где красота, яркая и чудесная, о существовании которой он даже никогда не подозревал. Он забыл все окружающее и жадными глазами впился в девушку. Да, он нашел здесь то, для чего стоило жить, чего стоило добиваться, из-за чего стоило бороться и ради чего стоило умереть. Книги говорили правду. Бывают на свете такие женщины. Вот одна из них. Она окрылила его воображение, и огромные яркие полотна возникали перед ним, и на них роились таинственные романтические образы, сцены любви и героических подвигов во имя женщины — бледной женщины, золотого цветка. И сквозь эти зыбкие, трепетные видения, как сквозь чудесный мираж, он смотрел на живую женщину, говорившую ему об искусстве и литературе. Он слушал и смотрел, не сознавая пристальности своего взгляда, не сознавая, что вся мужская сущность его натуры отражена в его блестящих глазах. Но она, мало знавшая о жизни и о мужчинах, вдруг по-женски насторожилась, поймав этот пылающий взгляд. Еще ни один мужчина не смотрел на нее так, и этот взгляд смутил ее. Она запнулась и умолкла. От нее вдруг ускользнула нить рассуждений. Этот человек пугал ее, и в то же время ей почему-то было приятно, что он так на нее смотрит. Полученное воспитание предостерегало ее

против опасности и силы этого таинственного, коварного обаяния; но инстинкт звенел в крови, требуя, чтобы она забыла свое происхождение и положение в обществе и устремилась навстречу этому гостю из другого мира, этому неуклюжему юноше с израненными руками и красной полоской на шее, натертой непривычным воротничком, — юноше, очевидно, хорошо знакомому с окружающей его грубой жизнью. Она была чиста, и вся чистота ее возмущалась; но она была женщина, и к тому же только что начавшая задумываться над удивительным парадоксом женской природы.

— Как я сказала... А что я говорила? — вдруг воскликнула она, оборвав фразу, и сама весело рассмеялась.

— Вы говорили, что этот Суинберн не сделался великим поэтом, потому что... да... вот на этом вы как раз и остановились, мисс...

Он сказал это и почувствовал точно приступ внезапного голода. От ее смеха приятные мурашки забегали у него по спине. Точно серебро, подумал он, точно маленькие серебряные колокольчики; и в это мгновение, и только на одно мгновение, он перенесся в далекую страну, сидел там под цветущей розовой вишней, курил и слушал звон колокольчиков остроконечной пагоды, призывающий на молитву богомольцев в соломенных сандалиях.

— Да, да... благодарю вас, — отвечала она. — Суинберн потому не сделался великим поэтом, что, по правде говоря, он иногда бывает грубоват. У него есть такие стихотворения, которые просто не стоит читать. У настоящего поэта каждая строчка исполнена прекрасного, истинного и взывает к самому высокому и благородному в человеке. У великих поэтов нельзя выкинуть ни одной строчки. Это было бы огромной потерей для мира.

— А мне это показалось очень хорошо, — сказал он нерешительно, — то, что я вот тут прочел... Мне и в голову не приходило, что он такой негодяй. Должно быть, это сказывается в других его книгах.

— И в той книге, которую вы читали, есть много строк, которые можно было бы выкинуть без всякого ущерба, — заявила она твердым и убежденным тоном.

— Мне они, верно, не попались, — сказал он. — То, что я читал, было уж очень здорово. Точно свет какой-то тебе в душу светит, вроде солнца или прожектора. Так мне показалось, мисс: да ведь я, должно быть, ни черта в стихах не смыслю.

Он вдруг умолк, мучительно сознавая свою косноязычность. Он почувствовал тепло и огромность жизни в том, что только что прочел, но ему нехватало слов, чтобы рассказать об этом. Он

самому себе казался матросом на чужом судне, который темною ночью путается в незнакомой оснастке. Хорошо, решил он, значит нужно во что бы то ни стало освоиться в этом чужом мире. Еще никогда не бывало, чтобы он не смог овладеть тем, чего хотел, а сейчас он страстно хотел научиться выражать свои чувства и мысли так, чтобы она его понимала. Она уже затмила для него весь горизонт.

— Вот, например, Лонгфелло... — начала она.

— Да, да. Я его читал, — живо перебил он, желая поскорей проявить все свои — хоть и малые — познания в области литературы. Пусть она убедится, что он не такой уж круглый невежда. — Я читал «Псалом жизни», «Эксцельсиор»... Да вот, кажется, и все.

Она улыбнулась, кивнула головой, и он почувствовал в ее улыбке снисходительность, печальную снисходительность. Он сглупил, вздумав похвалиться своими жалкими познаниями. Ведь этот Лонгфелло написал, наверно, несчетное множество книг.

— Простите меня, мисс, что я к вам полез с разговорами, — сказал он, — Правду сказать, я мало смыслю в таких вещах. Это не моего ума дело... Но я добьюсь того, что это будет моего ума дело.

Последние слова прозвучали как угроза. Голос его звенел, глаза сверкали, складки в углах рта

обозначились резче. Ей даже показалось, что челюсть у него выдвинулась вперед. Лицо приняло какое-то неприятное, вызывающее выражение. И в то же время мощная волна мужественности, исходящая от него, захлестнула ее.

— Я верю, вы добьетесь того, чтобы... чтобы это стало вашего ума дело, — подтвердила она смеясь. — Вы такой сильный!

Ее взгляд на миг остановился на его мускулистой бычьей шее, бронзовой от солнца, пышущей здоровьем и силой. И хотя он сидел перед ней такой смущенный и робкий, ее снова потянуло к нему. У нее вдруг мелькнула сумасбродная мысль. Ей представилось, что если б она обняла эту шею, вся сила и мощь передались бы ей. Эта мысль устыдила ее. Казалось, она неожиданно открыла в себе какую-то порочность. Кроме того, до сих пор физическая сила всегда казалась ей чем-то низменным и грубым. Ее идеал мужской красоты был нежен и полон изящества. Однако странная мысль не оставляла ее. Она не понимала, как могло у нее явиться желание обнять эту загорелую шею. А между тем все было просто. Она была хрупка от природы, и ее тело и ум томились по силе, которой им нехватало. Но она не сознавала этого, она знала лишь, что ни один мужчина еще не затрагивал ее так сильно, как этот человек, чья неправильная речь то и дело резала ее

слух.

— Да, я вообще здоров, как бык, — сказал он, — ежели понадобится, могу переварить ржавое железо. Но сейчас вот у меня что-то вроде несварения. Многое из того, что вы говорите, мне не переварить. Меня, видите ли, никогда ничему такому не обучали. Я люблю книги и стихи и читаю их, как только выдается время.

Но только я никогда про них так не думаю, как вы. Оттого мне и говорить о них трудновато. Я вроде моряка в незнакомом море, без карты и без компаса. А мне хочется сообразить, что тут к чему. Может, вы мне поможете? Откуда вы сами столько знаете?

— Я училась, ходила в школу, — отвечала она.

— В школу и я ходил, когда был мальчишкой, — возразил он.

— Да, но я кончила среднюю школу, а потом ходила в университет, на лекции.

— Вы учились в университете? — переспросил он с неприкрытым изумлением. И сразу между ними легло пространство в миллионы миль.

— Я и сейчас там учусь. Я слушаю специальный курс по английской филологии.

Он не знал, что значит «филология», и, отметив свое невежество в этом пункте, спросил:

— А сколько времени нужно было бы мне учиться, чтобы попасть в университет?

Она решила ободрить его в этом стремлении к знанию.

— Зависит от того, сколько вы учились раньше. Вы совсем не были в средней школе? Ну, да, конечно, нет... Но начальную школу вы окончили?

— Мне оставалось до конца всего два года, — отвечал он, — да я ушел... Но учился я всегда с наградами.

И тотчас же, браня себя за это хвастовство, он так сжал ручки кресла, что пальцы у него занули. В то же мгновение он увидел, что в комнату вошла какая-то дама. Девушка тотчас же встала и пошла ей навстречу. Они поцеловались и, обнявшись, направились к нему. Он решил, что это, вероятно, ее мать. Это была высокая белокурая женщина, стройная и красивая, одетая нарядно, как и подобает хозяйке такого дома. Изящные линии ее платья радовали глаз. Мартину Идену пришли на ум женщины, виденные им на сцене. Потом он вспомнил, что таких же важных дам, так же одетых, он видел в вестибюлях лондонских театров, где, бывало, пялил на них глаза, пока полицейский не выгонял его на улицу. Вслед за этим воображение перенесло его в Нокогаму, к Гранд-Отелю, где ему тоже случалось видеть издали таких дам. И тотчас

же замелькали перед ним сотни картин Иокогамы, города и гавани. Но он принудил себя закрыть калейдоскоп памяти и сосредоточить все внимание на настоящем. Он догадался, что должен встать и представиться, и с трудом поднялся с кресла, чувствуя, как безобразно пузырятся у него брюки на коленях. Руки его беспомощно повисли, а лицо при мысли о предстоящем испытании приняло мрачное выражение.

Глава II

Процесс перехода в столовую был сплошным кошмаром. А продвигаться среди всех этих предметов, на которые можно было ежесекундно натолкнуться, временами казалось ему невыносимым. Но в конце концов он проделал опасный путь и теперь сидел рядом с Руфью. Обилие ножей и вилок испугало его. Они грозили неизвестными опасностями, и он, как зачарованный, смотрел на них, пока в глазах у него не зарябило от блеска, и на этом сверкающем фоне всплыла знакомая картина матросского кубрика, где он и его товарищи ели солонину, действуя складными ножами, а то и просто пальцами, или хлебали густой гороховый суп из общей миски помятыми железными ложками. В ноздрях у него стоял запах скверного мяса, в ушах раздавалось громкое

чавканье матросов, которому аккомпанировал скрип снастей. Он решил, что они ели, как свиньи. Ладно, тут уж он последит за собой. Постарается жевать без шума, все время будет помнить об этом.

Он окинул взглядом стол. Против него сидели Артур и второй брат, Норман. Ее братья, сказал он себе, и почувствовал к ним искреннее расположение. Как они любят друг друга, члены этой семьи! Ему вспомнилось, как Руфь встретила свою мать, как они поцеловались, как, обнявшись, направились к нему. В том мире, из которого он вышел, между родителями и детьми не в обычае были подобные нежности. Для него это послужило своего рода откровением, доказательством той возвышенности чувств, которой достигли высшие классы. Из всего, что Мартину пришлось увидеть в этом новом для него мире, это было самое прекрасное. Он был глубоко тронут, и сердце его исполнилось нежностью и сочувствием. Он искал любви всю свою жизнь. Его природа жаждала любви. Это было органической потребностью его существа. Но жил он без любви, и душа его все больше и больше ожесточалась в одиночестве. Впрочем, сам он никогда не сознавал, что нуждается в любви. Не сознавал он этого и теперь. Он только видел перед собой проявления любви, и они казались ему благородными, возвышенными, прекрасными.

Он был рад отсутствию мистера Морза. Достаточно с него было знакомства с Руфью, с ее матерью и с ее братом Норманом. Артура он уже немного знал. Знакомиться еще и с отцом — это было бы уж слишком. Ему казалось, что еще никогда в жизни он так не трудился. Самая тяжелая работа была детской игрой по сравнению с этим. На лбу у него выступили мелкие капли пота, а рубашка взмокла от усилий, которых требовало решение стольких непривычных задач сразу. Надо было есть так, как он никогда прежде не ел, пользоваться предметами, с назначением которых он не был знаком, украдкой поглядывать на других, чтобы понять, как все это делается, и в то же время вбирать в себя непрерывный поток новых впечатлений, едва успевая классифицировать их в своем сознании; испытывать неодолимое влечение к девушке, наполнявшее его смутной и болезненной тревогой; томиться страстным желанием проникнуть в те жизненные сферы, в которых она жила, и напряженно и непрестанно размышлять о том, как достичь этого. Искося посматривая на Нормана, сидевшего напротив, или еще на кого-нибудь из обедавших, чтобы узнать, какой нож или вилку надо брать в том или ином случае, он старался в то же время ясно запечатлеть в своем сознании черты каждого и угадать, в каких он отношениях с Руфью. Кроме того, он должен был

говорить, слушать то, что говорили ему, или то, что говорилось вокруг, отвечать, когда это было нужно, заботясь о том, чтобы язык, привыкший к распущенным речам, не сболтнул чего-нибудь неподходящего. К довершению всего существовала еще постоянная угроза в виде слуги, который бесшумно появлялся за его плечами и, подобно некоему сфинксу, задавал загадки, требуя немедленного ответа. И все время ему не давала покоя мысль о чашках для полоскания пальцев. Против воли он то и дело вспоминал об этих чашках, думал о том, какие они из себя и когда их подадут. До сих пор он знал о них только понаслышке, и вот теперь, может быть через минуту-две, он их увидит, — ведь он сидит за одним столом с высшими существами, которые привыкли ополаскивать пальцы после еды, и должен будет сам — да, сам — это проделать. Но больше всего его занимала неотступная мысль: как ему держаться с этими людьми? Как себя вести? Он мучительно и напряженно старался разрешить эту проблему. Иногда ему приходило в голову, что хорошо бы притвориться не тем, что он есть на самом деле, но тотчас являлась другая опасливая мысль: что ничего у него не выйдет и что он не привык к притворству и легко может оказаться в дураках.

Занятый всеми этими размышлениями,

Мартин первую половину обеда просидел очень тихо. Он не знал, что тем самым опроверг слова Артура, предупредившего родных, что приведет обедать дикаря, но чтобы они не пугались, так как дикарь этот очень интересный. Мартину никогда не пришло бы в голову, что ее брат может быть способен на такое предательство, в особенности после того, как он его выручил из беды. И он сидел за столом, угнетенный сознанием собственного ничтожества и очарованный всем, что совершалось вокруг него.

Впервые он понял, что еда не просто удовлетворение физической потребности. Раньше он никогда не замечал того, что ел. Это была пища, и только. Здесь же, за этим столом, он находил удовлетворение своему чувству прекрасного, потому что еда здесь являлась эстетической функцией. И не только эстетической, но и интеллектуальной. Ум его усиленно работал. Вокруг него произносили слова, непонятные ему по значению, и другие слова, которые он встречал только в книгах и которые никто из людей его мира не мог далее выговорить. Когда он слышал, как легко произносились такие слова в этой удивительной семье, ее семье, он дрожал от восторга. Все увлекательное, высокое и прекрасное, о чем он читал в книгах, оказалось правдой. Он находился в блаженном состоянии человека, мечты

которого вдруг перестали быть мечтами и воплотились в жизнь.

Никогда еще не поднимался он на такие жизненные высоты, и, наблюдая и слушая, он старался поменьше обращать на себя общее внимание, отвечая односложно: «да, мисс» и «нет, мисс», если она обращалась к нему; «да, мэм» и «нет, мэм», если к нему обращалась ее мать. Он едва удержался, чтобы не сказать ее брату: «да, сэр», как полагалось по правилам морской дисциплины. Он чувствовал, что тем самым поставил бы себя в приниженное положение, а этого не должно быть, если он хочет добиться ее. Да и гордость его восставала против этого. Ей-богу, думал он, я не хуже их, и если они знают многое, чего я не знаю, то и я могу всему этому научиться. Но в следующий миг, когда она или ее мать говорили ему: «мистер Иден», — он забывал свою гордую строптивость и сиял от восторга. Он был сейчас цивилизованным человеком и обедал в обществе людей, о которых раньше только читал в книжках. Он словно сам попал в книгу и странствовал по страницам переплетенного тома.

Но сидя за столом и уподобляясь скорее кроткому Ягненку, чем дикарю, описанному Артуром, Мартин не переставал ломать голову над тем, как ему быть. Он вовсе не был кротким ягненком, и его властная натура не мирилась с

второстепенной ролью. Он говорил только тогда, когда это было необходимо, и речь его очень напоминала его переход из гостиной в столовую, когда он спотыкался и наталкивался на мебель. Мартин рылся в своем многоязычном лексиконе, боясь, что Нужные слова он не сумеет произнести как следует, а иные, знакомые ему, окажутся грубыми или непонятными. Все время его угнетала мысль, что эта связанность речи вредит ему, мешает выразить то, что он на самом деле чувствует и думает. Кроме того, невольная узда стесняла его независимый дух точно так же, как крахмальный воротничок давил его шею. Мартин опасался, что долго не выдержит. Чувства и мысли, обуревавшие его, настоятельно стремились вылиться наружу и принять определенную форму; и в конце концов он забыл, где находится, и старое, знакомое слово, одно из тех, которыми он привык пользоваться, сорвалось с его языка.

Мартин отклонил блюдо, предложенное лакеем, который все время торчал у него за спиной, и сказал кратко и выразительно:

— Пау.

Все за столом тотчас же застыли в ожидании, слуга с трудом сдержал злорадную ухмылку, а сам Мартин оцепенел, объятый ужасом. Но он быстро овладел собою.

— Это канакское слово, — сказал он, —

означает: «хватит», «довольно». Так уж у меня вырвалось, нечаянно. — Он поймал любопытный взгляд Руфи, устремленный на его руки, и, отвечая на ее немой вопрос, продолжал.

— Я только что приплыл на одном из пароходов тихоокеанской почтовой линии. Он опаздывал, и нам пришлось поработать в порту на погрузке, и не как-нибудь, а на совесть. Там я и поободрал себе шкуру.

— О, я вовсе не на то смотрела, — поспешно сказала она. — Ваши руки кажутся маленькими по сравнению с вашей фигурой.

Он покраснел, словно ему указали еще на один его недостаток.

— Да, — сказал он огорченно, — кулаки у меня слабоваты, это верно. Но бицепсы здоровые, как у мула, и удар что надо. Когда я кому-нибудь заеду в зубы, то обычно расшибаю себе руки в кровь.

Мартин был недоволен тем, что сказал. Он почувствовал отвращение к себе: перестал следить за своей речью и сразу наболтал лишнего о вещах не очень красивых.

— Как смело было с вашей стороны притти на помощь Артуру; тем более что он вам совсем чужой, — сказала Руфь деликатно, заметив его смущение, но не поняв причины.

Он же вполне понял и оцепил ее тактичность

и, увлеченный порывом благодарности, опять дал волю своему языку.

— Ерунда, — сказал он, — каждый сделал бы то же на моем месте. Эта шайка мерзавцев просто лезла на скандал. Артур их и не трогал. Они набросились на него, а я на них, — ну и отдул их порядком. Правда, кожа у меня на руках пострадала, ну да зато кое-кто из них не досчитался зубов. Я очень рад, что так вышло. Я когда вижу...

Он вдруг умолк с раскрытым ртом, потрясенный собственным ничтожеством, чувствуя, что недостойн даже дышать одним воздухом с нею. И в то время как Артур, подхватив разговор, в двадцатый раз стал рассказывать о приключении на пароме, — как на него напали какие-то пьяные хулиганы и как Мартин Иден бросился на них и спас его, — герой этого приключения, насупив брови, молча думал о том, что выставил себя болваном, и еще больше прежнего терзался вопросом, как же нужно вести себя в обществе этих людей. Он явно делал все время не то, что надо. Он был не их породы и потому не умел говорить их языком. Все это было несомненно. Подделываться под них? Но игра, наверное бы, не удалась, да и вообще притворство было не в его натуре. В ней не было места для обмана и фальши. Будь что будет, но он должен оставаться самим собою. Сейчас он не может говорить их языком, но со временем

сможет: в этом он был убежден непоколебимо. А пока — не молчать же ему! — он будет говорить своим языком; разумеется, смягчая выражения, чтобы его речь не шокировала их и была им понятна. Больше того, он не хочет своим молчанием дать повод думать, что ему ясно то, что на самом деле ему совершенно неясно. Поэтому, когда братья, говоря об университетских делах, несколько раз употребили слово «триг», Мартин Иден, следуя своему решению, спросил их:

— Что такое «триг»?

— Тригонометрия, — отвечал Норман. — Часть высшей «матики».

— А «матика» что такое? — был следующий вопрос, вызвавший у Нормана легкую улыбку.

— Математика, арифметика, — отвечал он.

Мартин Иден кивнул головой. Он заглянул в бесконечные, на первый взгляд, дали мудрости. Но то, что он увидел, приняло для него осязаемые формы. Необычайная сила его воображения воплощала абстрактные понятия в конкретные образы. В алхимическом приборе его мозга тригонометрия и математика и вся область знания, символом которой служили эти слова, превратилась в яркий ландшафт. Он видел, как на картине, зеленую листву, лесные прогалины, то ярко освещенные, то пронизанные золотистыми лучами. Издалека все казалось окутанным легкой

пурпурной дымкой, но за этой дымкой, он знал твердо, лежала страна неведомого, страна романтических чудес. Все это пьянило его, как вино. Тут была почва для подвига, простор для мыслей и дел, мир, который можно было завоевать, — и тотчас же из глубины сознания всплыла мысль: завоевать ради нее, бледной, как лилия, девушки, сидящей перед ним.

Сверкающее видение было разрушено Артуром, который прилагал все старания, чтобы в Мартине проявился, наконец, дикарь.

Мартин Иден помнил свое решение. Впервые за весь вечер он стал самим собою и сначала с усилием, а потом Свободно, увлекаясь радостью творчества, стал рассказывать, стараясь представить жизнь такой, какою он ее знал, Он был матросом на контрабандистской шхуне «Хальцион», когда ее захватил таможенный катер. Мартин умел видеть и, вдобавок, умел рассказать о том, что видел. Он описывал бурное море, корабли и людей команды и силой своего воображения заставлял слушателей смотреть его глазами. С чутьем настоящего художника он выбирал из множества подробностей самое яркое и разительное, создавал картины, полные света, красок и движения, увлекая слушателей своим самобытным красноречием, вдохновением и силой. Иногда их шокировала реальность описаний или

обороты речи, но грубое в его рассказе неизменно чередовалось с прекрасным, а трагизм смягчался юмором, причудливыми и веселыми образцами остроумия моряков.

И пока Мартин Иден говорил, девушка смотрела на него с восхищением. Его огонь согревал ее. Она удивлялась, как могла она такой холодной прожить все эти годы. Ей хотелось прильнуть к этому могучему, пылкому человеку, в котором klokотал вулкан силы и здоровья. Желание это было так сильно, что она с трудом сдерживала себя. Но в то же время что-то и отталкивало ее от Мартина. Отталкивали эти израненные руки, на которых остались неизгладимые следы труда и житейской грязи, эти вздувшиеся мускулы, эта шея, натертая воротничком. Его грубость пугала ее. Каждое грубое слово оскорбляло ее слух, каждая грубая подробность его жизни оскорбляла ее душу. И все-таки ее влекла к нему какая-то, как ей казалось, сатанинская сила. Все, что так твердо устоялось в ее мозгу, вдруг стало колебаться. Его жизнь, полная романтики и приключений, опрокидывала все привычные условные представления. Слушая его смех, его веселые рассказы об опасностях, она переставала считать жизнь чем-то серьезным и трудным: жизнь начинала представляться ей игрушкой, которой приятно поиграть, повертеть во все стороны, но

которую можно и отдать без особого сожаления. «Вот и ты играй, — говорил ей внутренний голос, — прижмись к нему, если тебе так хочется, обними его за шею». Ей хотелось осудить себя за эти легкомысленные побуждения, но напрасно противопоставляла она ему свою чистоту, свою культуру — все то, что отличало ее от него. Посмотрев кругом, Руфь увидела, что и остальные слушают его, как замороженные, но в глазах своей матери она прочла тот же ужас, — восторженный, но все-таки ужас, — и это придало ей силы. Да, этот человек, пришедший из мрака, — порождение зла. Ее мать также видит это, — значит, так и есть. Руфь была готова положить на суждение матери, как привыкла полагаться всегда. Пламя Мартина перестало жечь ее, и страх, который он ей внушал, потерял свою остроту.

После обеда она играла ему на рояле, с тайным вызовом, с неосознанным желанием еще увеличить пропасть, их разделявшую. Ее музыка ошеломила Мартина, подействовала на него, как жестокий удар по голове, но, ошелобив и сокрушив, в то же время всколыхнула его душу. Он смотрел на Руфь с благоговением. Как и она, он почувствовал, что пропасть между ними еще увеличилась, но тем сильнее хотелось ему перешагнуть через нее. Мартин был слишком чувствителен и экспансивен, чтобы целый вечер

молча созерцать эту пропасть, в особенности когда еще при этом звучала музыка. Музыка на него всегда сильно действовала. Она, точно крепкое вино, побуждала его к смелым мыслям и поступкам, опьяняла воображение и уносила в заоблачную высь. У него словно выросли крылья. Неприглядная действительность переставала существовать, уступая место прекрасному и необычайному. Он, конечно, не понимал того, что играла Руфь. Это было совсем не похоже на звуки разбитого пианино, которые он слышал на матросских танцульках, или на оглушительную медь духового оркестра. Но в книгах ему случалось читать о такой музыке, и он принимал на веру игру Руфи, не находя в ней простого и четкого ритма, к которому привыкло его ухо. Иногда ему казалось, что он поймал ритмический рисунок, и он уже готов был, подчинить ему строй образов, вставших перед ним, но тотчас же снова терялся в хаосе звуков, и его воображение беспомощно низвергалось на землю, как лишенная опоры тяжесть.

Один раз Мартину даже пришло в голову, не смеется ли она над ним. В ее игре ему чудилось нечто враждебное, и он старался угадать, что хотели сказать ее руки, ударявшие по клавишам.

Но он поспешно отогнал эту недостойную мысль и постарался свободно отдаться музыке.

Прежнее очарование постепенно опять овладело им. Его ноги словно отделились от земли, плоть стала духом, лучезарное сияние разлилось перед глазами. Все, что было вокруг, исчезло, он парил над каким-то неведомым миром, мечту о котором лелеял давно. Знакомое и незнакомое смешалось в ярком и неотступном видении. Мартин видел неведомые порты знойных стран, блуждал по людным площадям, в селениях диких племен, которых никто никогда не видел. Он словно чувствовал знакомый ему аромат островов, который привык вдыхать в жаркие ночи на морс, снова долгие тропические дни плыл по Великому океану, среди увенчанных пальмами коралловых островов, исчезающих и вновь появляющихся на бирюзовой поверхности. Картины возникали и исчезали быстро, как мысли. То он скакал на коне по выжженной солнцем пустыне, то, в следующее мгновение, сквозь радужную дымку раскаленного воздуха заглядывал в белую гробницу Долины Смерти или ударял веслами по волнам Ледовитого океана, где сверкали на солнце громадные ледяные острова. То лежал на коралловом острове под кокосовой пальмой, прислушиваясь к мерному шуму прибоя. Остов старого, потерпевшего крушение судна пылал синеватым пламенем, и при этом таинственном свете танцоры плясали «hula» под страстные завывания певцов, под звон

гавайской гитары и грохот там-тама. Стояла напоенная страстью тропическая ночь. Вдали, на фоне звездного неба, вырисовывался силуэт вулкана. Вверху над головой медленно плыл бледный месяц, и низко над горизонтом сияли звезды Южного Креста.

Мартин был подобен золотой арфе. То, что он пережил и изведal на своем веку было струнами, а музыка — ветром, который колебал эти струны, и они вибрировали, порождая воспоминания и мечты. Он не просто чувствовал. Каждое ощущение принимало у него форму и окраску и претворялось в образы каким-то чудесным и таинственным путем. Прошедшее, настоящее и будущее сливалось в одно; он уносился в огромный, жаркий, прекрасный мир, совершал великие подвиги, добиваясь ее. И вот он с ней, он владеет ею, заключает ее в свои объятия, увлекает ее в царство своих грез.

Руфь, взглянув на Мартина через плечо, прочла на его лице то, что он чувствовал. Это было совсем другое лицо, с большими сверкающими глазами, которые будто проникали за пелену звуков и там ловили биение живой жизни и исполинские призраки фантазии. Она была потрясена. Грубый, неуклюжий парень исчез. Плохо сшитый костюм, израненные руки и обожженное солнцем лицо попрежнему были перед ней, но теперь все это

казалось ей лишь тюремной решеткой, сквозь которую она видела великую душу, беспомощную и немую, ибо не было слов, которые могли выразить взволновавшие ее чувства. Но все это Руфь видела лишь одно мгновение; неуклюжий парень появился снова, и она рассмеялась над своей фантазией. Однако впечатление от этого мгновения сохранилось, и когда Мартин неловко подошел к ней, чтобы проститься, она дала ему томик Суинберна и еще томик Броунинга, — как раз сейчас она изучала Броунинга в курсе английской литературы. Мартин вдруг показался ей таким мальчиком, когда пробормотал слова благодарности, что она невольно почувствовала к нему материнскую нежность и жалость. Она забыла и грубого парня, и пленную душу, и мужчину, который так по-мужски смотрел на нее, радуя и в то же время пугая своим взглядом. Она видела перед собою лишь мальчика, и этот мальчик, пожимая ей руку своей рукой, такой жесткой и огрубевшей, что она царапала ей кожу, говорил ей запинаясь:

— Самый замечательный день в моей жизни. Видите ли, я не очень привык ко всему этому, — он растерянно оглянулся, — к таким людям, и таким домам. Это все совсем ново для меня... и это мне нравится.

— Надеюсь, вы к нам еще придете, — сказала она, когда он прощался с ее братьями.

Он напялил кепку, неуклюже споткнулся о порог и вышел.

— Ну, как он тебе понравился? — спросил Артур.

— Очень занятный. И для нас — словно струя озона, — ответила она. — Сколько ему лет?

— Двадцать, почти двадцать один. Я спрашивал его сегодня. Я никак не предполагал, что он так молод.

«Значит, я на целых три года старше его», подумала Руфь, целуя братьев на прощанье и желая им спокойной ночи.

Глава III

Сойдя с лестницы, Мартин Иден запустил руку в карман и, вытащив лоскуток коричневой рисовой бумаги и щепотку мексиканского табаку, скрутил папироску. Он с наслаждением затянулся долгой затяжкой и медленно выпустил дым.

— Чорт побери! — воскликнул он с благоговейным удивлением. — Чорт побери! — повторил он и, помолчав, пробормотал еще раз: — Чорт побери! — Потом он отстегнул воротничок и сунул его в карман. Моросил холодный дождь, но Мартин шел с непокрытой головой и в расстегнутом пиджаке, ничего не замечая кругом. Лишь смутно до его сознания

доходило, что идет дождь. Он был в каком-то экстазе, видел сны наяву, мысленно переживая снова все, что только с ним произошло.

Наконец-то он встретил ту самую женщину, о которой он, правда, думал редко, — задумываться о женщинах ему было несвойственно, — но которую всегда смутно надеялся встретить на своем пути. Он сидел с нею рядом за столом, он пожимал ее руку, он смотрел ей в глаза и видел в них красоту ее души — равную красоте этих глаз, в которых она светилась, этого тела, в котором она обитала. Но о теле ее Мартин не думал как о теле, — и это было ново для него, потому что о других женщинах он иначе не думал никогда. Ее тело было чем-то особым; казалось даже, что оно не должно быть подвержено обыкновенным телесным недугам и слабостям. Оно было не только обиталищем ее души, — оно было эманацией духа, чистейшим и прекраснейшим воплощением ее божественной сущности. Это впечатление божественности поразило Мартина и, рассеяв мечты, обратило его к более трезвым мыслям. До сих пор ни одно слово, ни одно указание, ни один намек на божественное не задевали его сознания. Мартин никогда не верил в божественное. Он всегда был человеком без религии и весело смеялся над священниками и над произведениями, толкующими о бессмертии души. Никакой жизни «там», говорил он себе, нет и быть

не может; вся жизнь здесь, а дальше — вечный мрак. Но то, что он увидел в ее глазах, была именно душа — бессмертная душа, которая не может умереть. Ни один мужчина, ни одна женщина, которых он знал раньше, не вызывали в нем мыслей о бессмертии. А она вызвала! Она безмолвно шепнула ему об этом сразу, как только взглянула на него. Ее лицо и теперь сияло перед ним, бледное и серьезное, ласковое и выразительное, улыбающееся так нежно и сострадательно, как могут улыбаться только ангелы, и озаренное светом такой чистоты, о какой он и не подозревал никогда. Чистота ее ошеломила его и потрясла. Он знал, что существуют добро и зло, но мысль о чистоте как об одном из атрибутов живой жизни никогда не приходила ему в голову. А теперь — в ней — он видел эту чистоту, высшую степень доброты и непорочности, в сочетании которых и есть вечная жизнь.

И его вдруг охватило честолубивое желание добиться бессмертия. Он отлично знал, что недостоин и воду таскать для этой девушки; уже то, что он сидел с нею весь вечер и беседовал, было неожиданной и фантастической удачей. Конечно, это была только случайность. Он ничем не заслужил этого. Он не был достоин такого счастья. Религиозное настроение овладело им. Он стал кротким и смиренным, готовым к самоотречению и

самоуничижению. В таком состоянии идет грешник к исповеди. Он был обличен во грехе. Но как всякий грешник, каясь и оплакивая свои прегрешения прозревает будущее блаженство, так и он видел впереди то счастье, которое даст ему обладание ею. Но мысль об этом обладании была окутана каким-то туманом и совсем не похожа на те мысли, которые возникали обычно. Честолюбивые мечты окрылили его, ему представлялось, что он парит вместе с нею на головокружительной высоте, наслаждается всем прекрасным и возвышенным, обменивается с нею мыслями. Это было какое-то духовное обладание, освобожденное от всего грубого, вольное содружество душ, мысль о котором он никак не мог довести до конца. Да он и не старался. Он вообще ни о чем не думал. Ощущения в нем взяли верх над рассудком, и он отдался эмоциям духа, которых никогда прежде не испытывал, плыл по течению в океане чувств, уносясь за пределы действительной жизни. Он шел, шатаясь, как пьяный, и бормоча вполголоса:

— Чорт возьми! О, чорт возьми!

Полицейский на углу посмотрел на него подозрительно и по походке признал в нем матроса.

— Где нагрузился? — спросил полицейский.

Мартин Иден возвратился на землю. Он был от природы наделен внутренней гибкостью, умением быстро приспособляться к

обстоятельствам. Как только полицейский окликнул его, он тотчас же опомнился.

— Здорово! — воскликнул он со смехом. — А ведь я не знал, что разговариваю вслух.

— Еще немножко, и ты начнешь петь, — определил его состояние полицейский.

— А вот не начну. Дайте-ка мне спичку, я сейчас сяду в трамвай и поеду домой.

Он закурил папироску, пожелал полицейскому доброй ночи и зашагал дальше.

— Как вам это нравится, — пробормотал он себе под нос, — этот олух принял меня за пьяного! — Он усмехнулся про себя и подумал: «А ведь я вправду пьян; вот не думал, что могу опьянеть от женского лица».

На Телеграф-авеню он вскочил в трамвай, шедший в Беркли. Вагон был набит молодыми людьми, распевавшими студенческие песни. Он с любопытством наблюдал их. То были слушатели университета. Они посещали те же лекции, которые посещала она, принадлежали к тому же обществу, могли водить с ней знакомство, могли видеть ее каждый день, если бы захотели. Он удивлялся, что они этого не хотят, что они прошатались где-то весь вечер, вместо того чтобы провести его с нею, беседовать с нею, любоваться ею восхищенно и почтительно. Он заметил одного юношу с узенькими глазками и отвислой губой. Дрянной,

порочный мальчишка, решил он. На корабле это был бы трус, плакса и доносчик. Мысль, что он, Мартин, куда лучше этого юнца, чрезвычайно обрадовала его. Она как будто приблизила его к ней. Он стал сравнивать себя с этими студентами. Он подумал о своем крепком, мускулистом теле и решил, что в физическом отношении заткнет за пояс любого из них. Но их головы были наполнены знаниями, которые позволяли им говорить одним языком с нею, а вот эта-то мысль угнетала его. Но для чего-то и мне дан мозг в конце концов, тотчас подумал он. Чего достигли они, могу и я достичь. Они изучали жизнь по книгам, в то время как он был занят тем, что жил. Его голова тоже была наполнена знаниями, только это были знания иного рода. Кто из них сумел бы натянуть парус, править рулем, отстоять вахту? Его жизнь пронеслась перед ним, полная опасностей, отваги, лишений и трудов. Он вспомнил все, что ему пришлось пережить во время учения. Что ж, а все-таки он не в проигрыше. Когда-нибудь и им придется столкнуться с живой жизнью и испытать все то, что он уже испытал. И прекрасно. Пока они будут узнавать то, что ему уже давно известно, он займется изучением по книгам другой стороны жизни.

Трамвай шел по мало застроенной местности между Оклендом и Беркли, и Мартин Иден ждал, когда он поравняется с хорошо знакомым ему

двухэтажным домом, на котором красовалась вывеска: «Розничная торговля Хиггинботама». Возле этого дома он соскочил с трамвая и с минуту смотрел на вывеску. Она говорила ему больше, чем можно было на ней прочесть. Мелким самолюбием, эгоизмом и жалким ничтожеством веяло, казалось, от самих букв. Бернард Хиггинбогам был женат на сестре Мартина, и он достаточно хорошо успел изучить его. Мартин отпер дверь своим ключом и поднялся по лестнице во второй этаж. Тут жил его зять. Лавка находилась внизу, но запах лежалых овощей проникал и сюда. Пробираясь по темной прихожей, он споткнулся об игрушечную тележку, забытую одним из его многочисленных племянников, и с грохотом налетел на дверь. «Скряга, — подумал он, — жалеет уплатить два лишних цента за газ, чтобы жильцы не разбивали себе нос».

Нащупав ручку, он открыл дверь и вошел в освещенную комнату, где сидели его сестра и Бернард Хиггинботам. Она чинила его штаны, а он читал газету, растянувшись на двух стульях и свесив костлявые ноги в стоптанных кожаных туфлях. Когда Мартин вошел в комнату, он взглянул на него поверх газеты темными, пронзительными, хитрыми глазами. В Мартине Идене Бернард всегда вызывал инстинктивное отвращение. Что могла сестра найти в этом

человеке? Он ему казался каким-то гадом и вызывал непреодолимое желание раздавить его каблуком. «Когда-нибудь я набью ему морду», — утешал он себя, и только эта мысль помогала ему выносить присутствие этого человека. Злые и хищные глаза теперь смотрели на Мартина неодобрительно.

— Ну, — спросил Мартин, — в чем дело?

— Эту дверь только на прошлой неделе окрасили, — произнес мистер Хиггинботам не то жалобно, не то злобно, — а ты знаешь, какую плату теперь дерут союзы. Можно было бы поосторожнее!

Мартин хотел было ответить, но раздумал, решив, что это все равно безнадежно. Чтобы отвлечься, он посмотрел на хромолитографию, висевшую на стене. Он удивился. Всегда эта картина нравилась ему, но теперь он словно увидел ее впервые. Это была дешевка, третий сорт, как и все в этой лачуге. Ему вдруг представился тот дом, который он только что покинул, и он увидел сначала картины на стенах, а потом ее, с ласковой улыбкой пожимающую ему руку на прощанье. Он забыл, где находится, забыл о существовании Бернарда Хиггинботама и опомнился только, когда названный джентльмен спросил его:

— Привидение ты увидел, что ли?

Мартин пришел в себя и, взглянув в эти злые,

хитрые глаза, вдруг вспомнил, какие они бывают, когда обладатель их отпускает товар в лавке, — масляные, слащавые, с заискивающим, рабски-угодливым выражением.

— Да, — отвечал Мартин, — я увидел привидение. Покойной ночи! Покойной ночи, Гертруда!

Он направился к двери и по дороге опять споткнулся и чуть не упал, зацепившись за ковер.

— Не хлопай дверью, — предостерегающе произнес мистер Хиггинботам.

Мартину кровь бросилась в голову, но он сдержался и осторожно затворил за собою дверь.

Мистер Хиггинботам торжествующе поглядел на жену.

— Пьян, — объявил он хриплым топотом, — я говорил, что он налижится!

Жена покорно кивнула головой.

— У него, правда, глаза блестят, — признала она, — и воротничок куда-то девался, а пошел он из дому в воротничке. Но, может, он не так уж много выпил.

— Он еле на ногах держится, — возразил ее супруг, — я наблюдал за ним. Шагу не мог сделать, чтобы не споткнуться. Ты слышала, как он чуть не свалился в передней?

— Он, верно, наскочил на алисину тележку, — отвечала она, — не заметил ее в

темноте.

Мистер Хиггинботам повысил голос, давая волю нарастающему раздражению. Весь день он скромно стушевывался перед покупателями, в ожидании вечера, когда в кругу семьи сможет, наконец, позволить себе стать самим собою.

— Я тебе говорю, что твой прекрасный братец пьян!

Он говорил резким, холодным, решительным тоном, чеканя слова, точно штампуя их на станке. Жена грустно умолкла. Это была крупная, рыхлая женщина, всегда небрежно одетая, всегда изнемогающая под бременем своего тела, своей работы и своего супруга.

— Это у него наследственное, от папаша, — продолжал тот прокурорским тоном, — и он пойдет по той же дорожке. Так и знай!

Она опять кивнула и со вздохом принялась шить. Оба были убеждены, что Мартин пришел домой пьяный. Их души были глухи ко всему прекрасному, иначе они бы поняли, что эти сверкающие глаза и сияющее лицо были отражением первой юношеской любви.

— Хорош пример для детей! — закричал вдруг мистер Хиггинботам, раздраженный молчанием жены. Иногда ему хотелось, чтобы она почаще возражала ему. — Если это случится еще раз, пусть убирается вон. Поняла? Я не желаю,

чтобы невинные дети развращались, глядя на его пьяную харю! — Мистер Хиггинботам любил употреблять слова, только что вычитанные в газете. — Да, раз вращались. Иначе не скажешь.

Но жена попрежнему только вздыхала, качала головой и продолжала шить. Мистер Хиггинботам снова взял газету.

— А он заплатил за прошлую неделю? — спросил он вдруг среди чтения.

Она утвердительно наклонила голову.

— У него еще есть деньги.

— А скоро он опять отправится в плавание?

— Должно быть, как деньги выйдут, — отвечала она. — Он уж вчера ездил в Сан-Франциско — посмотреть, нет ли подходящего судна. Но пока у него деньги есть, он, конечно, не найдется на первое попавшееся. Он очень разборчив.

— Еще чего! Палубной швабре не пристало задаваться! — Мистер Хиггинботам усмехнулся. — Разборчив! Подумаешь!

— Он тут рассказывал про одну шхуну, которая отправляется в далекие края за каким-то кладом. Вот он на ней хочет итти, если только хватит денег ее дожидаться.

— Если бы он хотел устроиться здесь, я бы его взял к себе возчиком, — сказал муж, без тени доброжелательства впрочем, — Том уходит.

Жена посмотрела на него тревожно и вопросительно.

— Ушел уже. Он переходит к Каррузерсам. Они платят больше. Я столько не могу платить.

— Вот видишь! — вскричала она. — Я тебе говорила. Ты ему платил слишком мало по его работе.

— Вот что, старуха, — со злобой ответил мистер Хиггинботам. — Я тебе тысячу раз говорил, чтобы ты не совала нос не в свое дело. Больше повторять не буду.

— Как хочешь, — проворчала она, — А только Том был хороший малый.

Супруг метнул на нее яростный взгляд. С ее стороны это было большой дерзостью.

— Если бы твой братец не был лодырем, он мог бы ездить с подводой.

— Он платит исправно за стол и квартиру, — возразила жена, — Он мой брат, и куда он тебе ничего не должен, нечего придирааться к нему. Я ведь еще тоже человек, даром что прожила с тобою целых семь лет.

— А ты сказала ему, что он должен платить за газ, если будет читать по ночам? — спросил он.

Миссис Хиггинботам ничего не ответила. Ее негодование уже остыло, ее дух снова забился в недра утомленного тела. Супруг торжествовал. Он одержал верх. И его бусинки-глазки сверкнули

злой радостью. Ему доставляло большое удовольствие смирять ее; и, по правде говоря, теперь это было совсем нетрудно, не то что в первые годы их супружеской жизни, когда ежегодные роды и его постоянные придирки еще не подорвали ее сил.

— Ну, ладно, завтра скажешь, — сказал он. — И еще чтоб не забыть: пошли завтра за Мэриен, пусть присмотрит за детьми. А то теперь, раз Том уходит, мне самому придется ездить за товаром, а ты будешь торговать в лавке вместо меня.

— Завтра у меня стирка, — возразила она нерешительно.

— Встань пораньше, только и всего... Я раньше десяти не выберусь.

Он сердито перевернул газетный лист и снова погрузился в чтение.

Глава IV

У Мартина Идена еще звенело в ушах после столкновения с зятем, когда он через темную переднюю пробирался в свою комнату — тесную каморку, где помещалась только кровать, умывальник и один стул. Мистер Хиггинботам был слишком скуп, чтобы держать служанку, раз жена его могла работать. К тому же лишняя комната позволяла иметь двух жильцов вместо одного.

Мартин положил Суинберна и Броунинга на стул, снял пиджак и сел на кровать. Пружины застонали, словно задыхаясь под тяжестью его тела, но он не обратил на это внимания. Нагнувшись, чтобы снять башмаки, он вдруг уставился на противоположную стену, где на белой штукатурке остались темные полосы от просочившегося сквозь крышу дождя, и замер. На этом грязном фоне стали возникать и таять разные видения. Он забыл про башмаки и долго смотрел на стену, потом у него зашевелились губы, и он прошептал: «Руфь!»

«Руфь!» Мартин никогда и не думал, что простой звук может быть так прекрасен. Этот звук ласкал его слух, и он повторял с упоением: «Руфь, Руфь». Это был талисман, магическое заклинание; и каждый раз, когда он произносил его, ее лицо являлось перед ним, озаряя всю степу золотым сиянием. Это сияние не задерживалось на стене, оно уходило в бесконечность, и где-то в золотом просторе его душа искала ее душу. Все лучшее, что было заложено в нем, хлынуло наружу могучим потоком. Самая мысль о ней облагораживала и возвышала его, делала лучше и вызывала желание стать еще лучше. Это было что-то новое. Мартин никогда еще не встречал женщин, с которыми он становился бы лучше, чем был. Напротив, все они обычно превращали его в грубое животное. Он не знал, что многие из них все же отдавали ему свое

самое лучшее, как ни убого это лучшее было. Он никогда не думал о себе и не подозревал, что в нем есть нечто, вызывающее в сердцах любовь, и что именно потому многие женщины так упорно добивались его внимания. Он их никогда не искал, они сами его искали; и ему не пришло бы в голову, что некоторые из них становились лучше благодаря ему. До сих пор он относился к женщинам с беспечной небрежностью, и теперь ему казалось, что это они всегда хватали его и крепко держали своими грязными руками. Он был несправедлив к ним, несправедлив и к самому себе. Но этого он не мог понять, потому что не привык еще задумываться о таких вещах, и только сгорал от стыда, вспоминая о недавнем разврате. Мартин внезапно встал и заглянул в потускневшее зеркальце, висевшее над умывальником. Он тщательно вытер его полотенцем и смотрел на себя долго и внимательно. В сущности он рассматривал себя впервые в жизни. Его глаза были созданы, чтобы видеть, но до сих пор они были прикованы к непрерывно меняющемуся облику мира, и у него не оставалось времени взглянуть на себя. Теперь он видел перед собой лицо двадцатилетнего юноши, но никак не мог решить, красиво оно или нет, так как у него не было критерия для подобной оценки. Он увидел копну каштановых волос, вьющихся над высоким крутым лбом. Его кудри нравились

женщинам, они любили перебирать их и гладить. Но он не стал приглядываться к волосам, считая, что для нее они не могут иметь никакого значения, и сосредоточенно и вдумчиво смотрел на свой лоб, пытаясь проникнуть в него, узнать, что за ним скрывается. Он настойчиво спрашивал себя, какой у него мозг? Чего можно ждать от этого мозга? Куда он заведет его?

Приведет ли он его к ней?

Мартин спрашивал себя, видна ли душа в этих иссиня-серых глазах, которые часто становились совсем голубыми, точно вбирали в себя блеск морской глади, озаренной солнцем. Он гадал, могли ли его глаза понравиться ей. Он попытался посмотреть в них так, как смотрела бы она, но из этого ничего не вышло. Он обычно легко угадывал мысли других людей, но все это были люди, жизнь которых он хорошо знал. А ее жизни он не знал совсем. Она была загадка и чудо, — где ж ему было угадать хоть одну ее мысль? Ну, что ж, решил он наконец, это честные глаза, ни гнусности, ни коварства в них нет. Его удивил темный цвет его лица; он никогда не думал, что так черен. Он засучил рукава рубашки и сравнил белую кожу выше локтя с кожей лица. Нет, он все-таки белый. Но руки были тоже загорелые. Тогда он согнул руку и, напрягая бицепсы, постарался разглядеть те части рук, которых вовсе не касалось

солнце. Они были очень белы. Он рассмеялся при мысли, что и это бронзовое лицо в зеркале было некогда так же бело; ему не приходило в голову, что на свете не так уж много нашлось бы женщин, которые могли похвастаться такой же белой кожей, как у него, — там где она не была обожжена солнцем.

Рот у него был бы совсем как у херувима, если бы он не имел обыкновения, когда сердился, крепко сжимать свои чувственные губы, что придавало ему какую-то суровость, строгость почти аскетическую. Это были губы воина и любовника. Они могли всласть наслаждаться жизнью, но умели при случае и повелевать. Подбородок и чуть тяжеловатая нижняя челюсть подчеркивали властное выражение лица. Сила уравновешивала в нем чувственность, и потому он любил здоровую красоту и откликался на здоровые чувства. А между губами блестели зубы, которые ни разу еще не нуждались в услугах дантиста. Они были белые, крепкие и ровные, — так он решил, когда разглядел их как следует. Но тотчас же он почувствовал смущение. Где-то в его памяти шевельнулось смутное представление о том, что некоторые люди ежедневно чистят зубы. То были люди высшего круга, ее круга. Она, вероятно, тоже чистит зубы каждый день. Что она подумает о нем, если узнает, что он ни разу и жизни не чистил зубов. Он решил завтра же купить щетку и ввести

это в обычай. Одними подвигами ее не завоеешь. Он должен произвести изменение во всем, что касалось его особы, начиная с чистки зубов и кончая ношением воротничка, хотя, надевая крахмальный воротничок, он всегда чувствовал себя так, будто его лишили свободы.

